

Ни у кого из писателей не было столько «вторых имен», как у Чехова. «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придется расстаться. Во-вторых, медицина, которая мнит себя быть серьезной, и игра в литературу должны иметь разные клички», — писал Чехов литератору Билибину.

Псевдоним — подпись, которой автор заменяет свое настоящее имя. В переводе с греческого языка слово псевдоним (*pseudos* и *опума*) означает «носящий вымышленное имя». Многие писатели и поэты по разным причинам печатали свои произведения под псевдонимом. Самым изобретательным в придумывании псевдонимов был Антон Павлович Чехов, который писал литератору Билибину: «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придется расстаться. Во-вторых, медицина, которая мнит себя быть серьезной, и игра в литературу должны иметь разные клички» (из книги: Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя. — М.: Наука, 1980).

Ни у кого из писателей не было столько «вторых имен», как у Чехова. Всего известно свыше 50 чеховских псевдонимов.

В указателе псевдонимов Чехова встречаются такие: А. П.; Антоша; Антоша Чехонте; А-н Ч-те; Ан. Ч.; Ан, Ч-е; Анче; Ан. Че-в; А.Ч; А. Че; А. Чехонте; Г. Балдастов; Макар Балдастов; Брат моего брата; Врач без пациентов; Вспыльчивый человек; Гайка № 6; Гайка №9; Грач; Дон-Антонио Чехонте; Дяденька; Кисляев; М. Ковров; Крапива; Лаэрт; Прозаический поэт; полковник Кочкарев, Пурселепетанов; Рувер; Рувер и Ревур; С. Б. Ч.; Улисс; Ц; Ч. Б. С.; Ч. без С.; Человек без селезенки; Ч. Хонте; Шампанский; Юный старец; «...въ»; Z. Юмористические подписи и псевдонимы Чехова: Акакий Тарантулов, Некто, Шиллер Шекспирович Гете, Архип Индейкин; Василий Спиридонов Сволачев; Известный; Н. Захарьева; Петухов; Смирнова.

Первое место в ряду использованных писателем псевдонимов занимает подпись Антоша Чехонте. Она стала основным псевдонимом Чехова-юмориста. Именно с этой подписью молодой студент-медик рассылал в юмористические журналы свои первые произведения. Он не только употреблял этот псевдоним в журналах и газетах, но и поставил его на обложке двух первых авторских сборников («Сказки Мельпомены», 1884, и «Пестрые рассказы», 1886). Исследователи литературного наследия писателя полагают, что псевдоним Антоша Чехонте (варианты: Антоша Ч***, А-н Ч-те, Анче,

А.Чехонте, Чехонте, Дон Антонио Чехонте, Ч. Хонте и т.д.) возник, когда Чехов учился в таганрогской гимназии, где законоучитель гимназии Покровский любил переименовывать фамилии учеников. Шуточное письмо в редакцию «Осколков» Чехов подписал «полковник Кочкарев» (гибрид полковника Кошкарева из «Мертвых душ» и Кочкарева из «Женитьбы» Гоголя). Происхождение псевдонима Брат моего брата исследователи связывают с тем, что с 1883 года Чехов стал печататься в тех же юмористических журналах, в которых до него выступал его старший брат Александр. Чтобы не создавать путаницы, Чехов на титульном листе своей книги «В сумерках» (1887) написал фамилию с уточненными инициалами: «Ан. П. Чехов». А потом стал подписываться Брат моего брата. Остальные псевдонимы Чехова были, как правило, недолговечны и применялись исключительно для комического эффекта: Макар Балдастов, Врач без пациентов, Гайка № 6, Гайка № 9, Крапива, Прозаический поэт, Рувер, Шампанский и т.п.

И только псевдоним Человек без селезенки имел серьезную семантическую составляющую «медицинского» характера. Им Чехов пользовался более десяти лет. Под этим псевдонимом (и его вариантами: Ч. без С., Ч. Б. С., С. Б. Ч.) вышло 119 рассказов и юморесок и 5 статей и фельетонов. Необычный чеховский псевдоним, считают ученые, зародился на медицинском факультете Московского университета, где самым сложным курсом считался курс анатомии, с которым, возможно, и связано сочетание Человек без селезенки.

Несмотря на то, что свои произведения Антон Павлович подписывал разными именами, ни один из псевдонимов не «прижился» в его творчестве. Он вошел в отечественную и мировую литературу под своим именем.

ЧУДО ЧЕХОВА

Чехов входит (входил в более естественные, с меньшим технологичным и денежным избытком времени) в жизнь людей с детских лет — «Каштанка», отдельные юмористические рассказы...

Чехов открывал мир юмора доброго, и вместе с лукавым прищуром — как позже — саркастическим острием рассекал плоть социума: когда нельзя было оным отсечь больные члены...

Галерея подхалимов, корыстолюбцев, дураков выстраивалась, чтобы, заняв свои места на сцене общечеловеческого представления, показать, как не надо жить, как не следует вести себя...

Мудрая улыбка доктора обеспечивала точность изображения; если ранние рассказы Чехова еще не сверкали каждой фразой, то начиная со «Степи» создавалось магическое ощущение золотых словесных нитей, из которых составлялись практически все уже повести и рассказы.

Чехов показал, что для построения полноценного образа не обязателен большой объем: скажем, в рассказе «Супруга» персонажи столь мощно поднимаются со страниц, что не верится, что их всего несколько...

Прогуливается по набережной дама с собачкой, ожидая того, о чем и не догадывается еще.

Вздыхает, предчувствуя кончину, архиерей, счастлив напоследок уж тем, что поминался с маменькой, пусть и робеющей перед ним, поднявшимся так высоко.

Скрипка Ротшильда будет рыдать, оплакивая Бронзу, всю жизнь разменявшего на гробы.

Все просто. Все страшно.

Лучшие люди города оказываются сумасшедшими, и паровозы двадцатого века разорят вишневые сады такой теплой, уютной, барской жизни...

Суммарно произведения Чехова созидают энциклопедию тогдашней российской

жизни: от деревни до городских дебрей, от любви, как физиологии, до вершин сияющих основного чувства; от делового напора до тихих углов нищеты.

Но если это энциклопедия нравов и быта, то образы, вписанные в нее, не имеют временных измерений: они давно живут среди нас, и можно увидеть даму с собачкой и Гурова на соседней улице, хотя одеты они будут по-другому...

Все теперь иначе, и, возможно, мало кому из детей читают «Каштанку», но короба метафизических драгоценностей, собранных Чеховым, остаются сверкать и переливаться, меняя к лучшему тех, кто прикоснется к ним.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Каждая фраза стремится стать этапом жизни, являясь ее сгустком.

Вообще-то от «Скрипки Ротшильда» берет жуть — метафизического толка: почему все так устроено?

Кем?

Зачем?

Почему и зачем чудо жизни сводится к убогому, как старая изба, городишку, где, зажатый в тисках обстоятельств, коротает свой век основательный гробовщик?

Зачем простота жизни такова, что непременно вспомнится про воровство, которого она хуже?

Был ли у Бронзы музыкальный, исполнительский талант, который можно было бы развить, чтобы выдраться из болотистой яви?

Он записывает цену на гроб старухи-жены до того, как она скончается, — и делает этот гроб, обругав перед тем врача, отказавшегося лечить.

...лечить, похоже, надо общество, причем, любое, что невозможно.

Все сухо, точно, страшно, блестяще.

Да, фразы, точно прорезанные алмазом, блестят, или от них идет ровное золотое свечение.

Старуха умерла.

Она вспоминала девочку, но ей мерещилось это.

Яков умрет за ней, завещав свою хорошую скрипку Ротшильду...

Слезы, выступающие по окончанию чтения, логичны — хотя отчасти это слезы бессилия: не помочь никому...

Хотя, как знать? Быть может, вписанные в своды бессмертия Яков, Марфа, Ротшильд обрели нечто, нам не доступное...

МЕХАНИЗМЫ ДРАМАТУРГИИ

«Вишневым сад», как вход в двадцатый век, и не способные устроиться в нем, будучи перерезаны колесами налетающего поезда.

А чаек убивать нельзя.

Вам жалко Треплева, который с не меньшим, чем у Тригорина талантом никогда не добьется его положения, не добьется никакого, и доктору Дорну придется объяснять, что у него в саквояже лопнула склянка с эфиром.

Фирс, несчастием познавший свободу, будет говорить о том, что человека забыли.

Забыли.

Скорее о нем.

Иванов тоже покончит с собой, как Треплев, словно зигзаги судьбы могут повторяться, или основные метафизические узлы завязываются в душах многих.

В жизни все просто, говорит граф Шабельский: потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий.

В жизни все сложно, как в пьесах Чехова, в которых сам он видел комедии.

Вероятно, имея в виду человеческую комедию вообще.

ЧЕХОВ, КАК ПОЭТ

Этого я не знаю — так начинает статью «Что такое поэзия» Иннокентий Анненский.

Тем не менее, поэзия не только организованная определенным образом речь, подразумевающая соответствующий рисунок записи: поэзия — ощущение неба, наполняющего жизнь; и — некая таинственность, разлитая в ней — почти повсюду; поэзия — тонкость мировосприятия, и сострадание малым сим, чья жизнь, как правило, исполнена свинцовой необходимости, не объясненной никем.

Поэзия наполняет прозу Чехова в высшей мере: и слюясь великолепно сделанным, всегда зримым, столь тонко играющим красками пейзажем; и пропитывая речь говорящих, и серьезно мерцающая жалостью — будь то Бронза, обреченный на гробы вместо музыки, или Каштанка, утратившая привычную жизнь...

Поэзия прозы всегда связана с жизнью в большей мере, чем поэзия, созданная записью в столбик и с рифмами, ибо люди стихами не говорят.

Поэзия Чехова сумеречна, в несколько лиловатых оттенках, и связана, пожалуй, с осенью серьезнее, нежели с каким-то другим временем года.

...элегически падают листья, создавая необыкновенно красивый узор, и вода в пруду отликает чернотою и золотом.

Некто, сидящий с удочкой, ибо пойманный окунек подарит короткий зигзаг счастья.

Мисюсь больше никогда не увидеть — и в этом тоже поэзия.

Архиерей устал от церковной жизни — как и от жизни вообще, от карьеры своей, возраста: и никогда не вернуться в детство.

Корабль выходит из порта, чтобы прийти в новый.

Человек рождается, чтобы проделать свой путь, и родиться снова, только про это второе рождение нам мало что известно.

Или ничего совсем.

Что не исключает поэзию всего, происходящего с нами, столь точно переданную прозой Чехова.

ЧЕХОВ И ГОРЬКИЙ

Чехов, предлагая стилистику, близкую к понятию совершенства, золотому сечению, когда комбинация золотых нитей фраз, организующих панораму людского общества, и Горький, идущий из глубины народных гущ и перерабатывающий эту руду в словесный материал, — слишком разные для одного времени.

Тем не менее, история литературы, сохраняющая документы о неплохих их отношениях, свидетельствует о наличии и творческих точек соприкосновения двух классиков.

Точки эти: болевое ощущение человеческой жизни, отношение к человеку как мере вещей, и сострадание, множимое на сожаление, что сострадание это необходимо.

Человек всегда мал — даже если серьезно положение его в мире; человек всегда слаб, даже если стоит за ним духовная (не очень понятная, если по правде) сила.

Именно так: подспудно, подоплекой разворачивающихся бытовых и бытийных панорам прослаивает метафизика книг Чехова и Горького; именно это сближает их.

И еще — тоска по алмазно-прекрасной, безусловно, светлой жизни, которая так и не настала, увя.

